Меркурьев Владимир

# Корни и Капитал

## Ертарский исток



СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

18+

**Владимир Меркурьев**

# «Корни и капитал»: «Ертарский исток»

*https://litres.ru/74816312*
*SelfPub; 2026*

## Аннотация

Ертарский исток

Книга первая серии «Корни и Капитал»

Умирающий уральский посёлок, погасший стекольный завод, пруд, задушенный илом. Сюда из Астаны возвращается Владимир Меркурьев: безупречные манеры, холодный расчёт и план на пятнадцать лет. Он берётся очистить пруд, пока местные смеются, а холдинг «Урал-Агро-Инвест» готовит удар.

Чёрный ил становится брендом, в тайге ждёт дача легендарного Поклевского-Козелла, а на дне пруда лежит то, что способно перевернуть всю игру.

Роман о терпении, чести и цене времени в традиции Дюма и Мамина-Сибиряка. Уральский Монте-Кристо в эпоху маркетплейсов.

Ждать и надеяться.

# Содержание

Глава I. Пассажир из Астаны 4
Конец ознакомительного фрагмента. 13

# Владимир Меркурьев «Корни и капитал»: «Ертарский исток»

## Глава I. Пассажир из Астаны

*«Железо закаляется в огне, характер — в монотонном труде, а истинное богатство края рождается там, где встречаются вековая память земли и холодный прагматизм созидателя. Чтобы поднять со дна империи золото, сначала нужно научиться ценить её ил».*

«Данное произведение является художественным вымыслом. Все персонажи, имена, фамилии, организации и события вымышлены. Любое сходство с реально существующими людьми, живыми или умершими, а также с реальными событиями является случайным».

Осень на Урале не приходит, а наваливается. Она оседает на землю тяжёлым серым войлоком туч, сочится из каждой колеи ледяной влагой, забирается под воротник и под кожу, и человек, привыкший к ясным степным горизонтам, вдруг чувствует себя так, будто его опустили на дно огромного колодца. В тот октябрьский вечер, когда сумерки ещё не

пали, но день уже умер, вековые сосны по обе стороны разбитого просёлка стояли сплошной чёрной стеной. Они гудели. Не ветер, нет, ветра почти не было, а сама тайга, как старый больной зверь, ворочалась и вздыхала во сне, и от этого вздоха дрожали последние жёлтые листья на редких берёзах, жавшихся к обочине, словно сироты.



По этой дороге, увязая в глине по самые ступицы, медленно полз тёмный автомобиль. За рулём сидел тюменский таксист, мужик лет сорока пяти, суеверный и словоохотливый, как все люди, много времени проводящие наедине с дорогой. Всю последнюю сотню километров он говорил без умолку, жалуясь то на яму, то на погоду, то на пассажира, который

молчал так, будто его вовсе не было.

— Вы не обижайтесь, — наконец выдавил таксист, поймав в зеркале неподвижный взгляд. — Я за такие деньги и до Северного Ледовитого бы повёз. Только в Ертарку нынче никто по доброй воле не ездит. Мёртвое место. Завод встал в девяносто восьмом, народ разбежался, кто остался, те либо пьют, либо лес пилят. Волки зимой к самым огородам выходят. Зачем вам туда?

Пассажир не сразу отвёл глаза от окна. Ему было немногим за сорок. Лицо сухое, чуть смуглое, с той выдержанной бледностью, что бывает у людей, много лет проживших в кабинетах и ни разу не позволивших себе суеты. Тёмное пальто безупречного кроя, перчатки, трость с серебряным набалдашником, которая в руке другого выглядела бы фатовством, а в его руке казалась продолжением воли. Звали его Владимир Меркурьев, и ещё неделю назад в Астане о нём говорили шёпотом, как говорят о людях, чьи капиталы не поддаются счёту, а намерения не поддаются разгадке.

— У каждого места есть своё время, — ответил он негромко, и таксист невольно притих, потому что голос был ровный и глубокий, без тени желания убеждать. — Это место своё отлежало. Теперь ему пора вставать.

Таксист хмыкнул, перекрестился украдкой и вдавил педаль.

Лес расступился внезапно. Дорога вынырнула из бора, пошла под уклон, и впереди открылась низина с тусклым блес-

ком воды. Пруд лежал под низким небом, как проржавевшее зеркало, в котором уже никто не отражается. Тростник по берегам почернел и полёг. На дальней стороне темнели ряды покосившихся изб, а над ними, над всем этим мёртвым скопищем крыш, поднималась в небо она, труба.

Высокая, суровая, обугленная временем, труба Ертарского стекольного завода стояла одна, как последний часовой рухнувшей крепости. Низ её рассыпался кирпичной крошкой, по бокам пошли трещины, но она держалась. Вокруг неё, точно кости павшего войска, громоздились остовы цехов: пустые глазницы окон, провалившиеся кровли, груды битого стекла, которое даже в этой сырой мгле ловило последний свет и вспыхивало холодными, недобрыми огоньками. Когда-то из этой трубы валил дым, который видели за десять вёрст. Когда-то здесь гудели печи, выдувалось стекло, кормились сотни семей. Теперь труба молчала, и в этом молчании было нечто такое, от чего хотелось говорить шёпотом.

Меркурьев велел остановить машину у плотины.

— Дальше я пойду пешком, — сказал он, расплатился, не считая, и вышел.

Таксист, не глуша мотора, торопливо развернулся, и красные огни его машины скоро растворились в лесу. Звук мотора ещё какое-то время плыл над низиной, затем угас, и тогда Меркурьев впервые услышал Ертарку. Это была не тишина, а нечто большее: густая, плотная, живая пустота, в которой слышно, как капает с веток, как переступает в лесу круп-

ный зверь, как вздыхает вода под гнилыми досками плотины. Урал-батюшка встречал чужака молча, без приязни и без гнева, как встречает старый хозяин человека, о котором ещё не решил, впустить его или прогнать.

Владимир постоял, опираясь на трость. Он смотрел на трубу, на пруд, на темнеющие избы, и взгляд его был таким, каким смотрит граф, прибывший на остров, где ему предстоит провести годы. Только Дантес входил в замок Иф узником, а этот человек вошёл в него хозяином. Замок был жалок, сыр и разрушен, но он был его. И никто из живущих здесь, ни одна душа в этом посёлке, ещё не знал, что отныне их судьба и судьба этой земли лежат в его руках, как слиток в ладони кузнеца.

И вдруг, как это бывает лишь с теми, кто возвращается на пепелище, на него хлынула память. Он увидел себя мальчишкой, не старше шести лет, в огромных, не по росту, валенках и в наспех наброшенном тулупе. Была зима, настоящая уральская зима, когда мороз стоит такой, что воздух звенит, а снег под ногой не хрустит, а поёт тонким, пронзительным голосом. Он выбрался на крыльцо тайком, пока в избе ещё не хватились, и остановился, поражённый, у самых перил, схваченных инеем.

В лицо ему ударил холод, чистый и острый, как лезвие, и пахнул он дымом, снегом и чем-то ещё, сладковато-горячим, чем пахнет только расплавленное стекло. А над крышами, над белыми, туго натянутыми полотнищами дымов, дышал

завод. Он не шумел, нет: он именно дышал, глубоко и ровно, и этот низкий, мерный гул шёл, казалось, не от земли, а из самой груди неведомого исполинского зверя, прилёгшего на ночь за прудом. Гул входил в грудь, в ноги, в промёрзшие доски крыльца, и мальчик стоял, не смея шелохнуться, заворожённый, как стоят перед ликом чего-то великого и непостижимого.

Яркие электрические огни, развешанные по заводскому двору, лили на снег белый, режущий свет, но им не удавалось сбить другого света, того, что рвался из высоких окон главного корпуса. Это был красный, густой, живой жар ванных печей, багровое сердце завода, и на его отсвете чернели трубы, а снег у стен казался подёрнутым тёплой кровью. Из сеней позвали его по имени, раз, другой, но он не отозвался. Он смотрел и запоминал, сам не зная, что запоминает навсегда.

Прошли десятилетия, столицы и деньги, чужие города и чужие языки, а это крыльцо, этот мороз и этот багровый отсвет на снегу остались самым ярким воспоминанием его жизни, той точкой, откуда, как он понял только теперь, и потянулась вся его дорога. Он посмотрел на чёрную, холодную трубу над мёртвым посёлком и подумал, что зверь не умер. Он лишь очень долго спал.

Он медленно пошёл по бровке плотины. Под ногами хлюпала грязь, сквозь доски проступала вода. Слева, в сторону пруда, лежала тёмная неподвижная гладь, и Меркурьев ощу-

тил, что она не пуста, что в ней, как в старом колодце, что-то заперто и ждёт. Почему он так подумал, он и сам не смог бы объяснить. Хозяйский глаз видит то, чего не видят другие, и чует там, где другие проходят мимо.

Посёлок встретил его пустыми улицами. Ни собачьего лая, ни света в окнах, лишь в одной-двух избах мерцали тусклые огоньки. Заборы валились, огороды заросли бурьяном в человеческий рост, на крылечках гнили вёдра и старые валенки. У магазина с заколоченными окнами стоял ржавый трактор, давно ставший памятником самому себе. Всё здесь дышало усталостью, той особой уральской усталостью, когда природа берёт назад то, что человек не сумел удержать: мох лез на крыши, берёзы пробивались сквозь фундаменты, а ели подступали к самым домам, готовые завершить начатое.

Улица, на которую он свернул, называлась когда-то Заводской. Меркурьев знал её имя по бумагам, знал номера домов и фамилии прежних владельцев, знал даже, сколько стоят здесь сруб и сотка земли. Но бумага и камень, дыхание и холод, как известно, вещи разные, и теперь он шёл по ней, ощущая подошвами каждую колдобину, будто читал книгу, написанную не чернилами, а временем.

И тут, в самом конце улицы, у покосившегося забора, он увидел человека.

Тот сидел на корточках у стены, привалившись спиной к потемневшим брёвнам, и курил, пряча огонёк в ладонях, как делают люди, привыкшие не показываться на глаза. Он был

худ до прозрачности. Ватник висел на нём, как на вешалке, из рукавов торчали костлявые запястья, и на тыльной стороне ладоней, на шее, на скуле, всюду, где кожу не закрывала одежда, проступали тёмные язвы, воспалённые, плохо заживающие. Лицо у него было молодое, но измученное, с тем выражением затравленной настороженности, какое бывает у собаки, которую слишком часто били. Однако глаза, и это Меркурьев заметил сразу, остались живыми. В них не погас ещё тот огонёк, который не гаснет у человека, пока он помнит, что был человеком.

Увидев чужака, парень вздрогнул, быстро затушил окурок о подошву и поднялся, оглядывая пальто, перчатки и трость цепким, оценивающим взглядом. Взглядом вора, которым он когда-то был и от которого ещё не успел отвыкнуть.

— Заблудились? — хрипло спросил он. Голос был ломкий, севший. — Тут чужие не ходят.

— Я не заблудился, — ответил Меркурьев. — Я пришёл.

— К кому?

— К этой улице.

Парень усмехнулся, и усмешка вышла кривая, больная.

— Улица никому не нужна. Она давно ничья. Тут одни покойники да мы, кого Господь забыл прибрать. Хотите дом купить? Так любой за бутылку отдаст. Только он сгнил уже, этот дом.

— Как тебя зовут?

Вопрос прозвучал просто, без снисходительности, но па-

рень замер, будто не ожидал, что кто-то в этом мире ещё спрашивает его имя.

— Сега, — наконец сказал он. — Сергей по паспорту, да меня так давно никто не зовёт.

— Сергей, — повторил Меркурьев, пробуя слово, как пробуют на зуб монету. — Хорошее имя. Крепкое.

Он помолчал. Ветер качнул чёрные ветви, где-то в глубине леса протяжно, на одной ноте, завыл волк, и Сега невольно втянул голову в плечи. А Меркурьев не шевельнулся. Он смотрел на изъязвлённое лицо, на дрожащие пальцы, на покосившуюся избу за спиной парня, из окна которой на них глядела чья-то тень, и в его мыслях складывалась, быстро и холодно, как шахматная комбинация, картина будущего. Он видел не нищего и не вора. Он видел руки, которые когда-нибудь будут держать лопату. Видел спину, которая когда-нибудь выпрямится. Он видел, как из этого пепла, из этой кабалы, из этой гнили поднимается другой человек, и он знал цену такому подъёму, потому что сам когда-то поднимался со дна.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.